

Посвящается Куанг-Ю

Слова благодарности

Эту книгу можно назвать дневником путешествия моей мысли, где на каждой станции мне посчастливилось встретить людей выдающегося ума, эрудиции, щедрости и честности. Некоторые из них стали моими близкими друзьями. Будучи студентом Дартмутского университета, я познакомился с сочинениями Л. Н. Толстого благодаря Барри Шерру и с философией Л. Витгенштейна — благодаря Роберту Фогелину. В Стэнфордском университете расширить знания о русской литературе XIX века мне помог Уильям Миллс Тодд III, который всячески поддерживал мою работу и дальше. В Йельском университете оттачивать аналитические навыки и разбираться в современной философии языка меня учил Кен Джимс. В аспирантуре Питтсбургского университета мне выпала честь изучать Витгенштейна и многое другое у Джона Макдауэлла — его влияние на мое мышление сказывается в этой книге на каждом шагу. Став приглашенным доцентом Северо-Западного университета, я получил возможность проверить некоторые свои идеи в диалоге с Эндрю Вахтелем и Юлией Борисовой. Будучи доцентом Колорадского университета, я смог развить свои мысли об эмоциях и неинференциальном знании благодаря Роберту Ханне.

Барри Шерр, Уильям Миллс Тодд III, Тимоти Д. Сергай и Роберт Ханна прочитали главы этой книги и высказали бесценные замечания и предложения. Некоторые вводные положения книги были опубликованы в виде статьи в журнале «Tolstoy Studies Journal», редактор которого Майкл Деннер дал мне очень полезные советы. Ранние варианты разных частей книги представлялись на обсуждение в Питтсбургском университете, Нью-Йоркском университете, Гарвардском университете, Северо-Западном

университете и на ежегодной конференции Американской ассоциации сравнительного литературоведения. Я также благодарен двум анонимным рецензентам, чьи предложения существенно улучшили качество книги. Ныне покойная Хелен Тартгар порекомендовала мне издательство Северо-Западного университета и его замечательного редактора Майкла Г. Ливайна. Именно увлеченность Хелен новаторскими междисциплинарными исследованиями в гуманитарных науках способствовала выходу в свет подобных сочинений, и я заканчивал свою книгу в память о ней.

Все годы работы над книгой меня поддерживали друзья: Дэниел Бранди, Эрик Вальчак, Зилла Гудмен, Аниль Гупта, Дэниел ДеллиБови, Мартин Джей, Кен Джимс, Кэти Кийло, Дженис Кауфман, Майкл Ливайн, Джон Макдауэлл, Иэн Макдоналд, Рут Мас, Кристоф Менке, Ларсон Пауэлл, Дэвид Пэн, Соня Саттон, Тимоти Д. Сергей, Керан Сетийя, Р. Клифтон Спарго, Рошель Тобиас, Уильям Миллс Тодд III, Дэвид Феррис, Гордон Финлейсен, Джон Фрейзи, Йозеф Фрюхтль, Роберт Ханна, Йохан Хартле, Бен Хейл, Заския Хинц, Карен Хоули, Пэм Шайм, Барри Шерр, Джессика Шиллинг, Мартин Шустер, Морин Пикфорд и семья Аренс.

Благодарю моих новых коллег из Университета Дьюка за то, что приняли меня так радушно: Ингеборг Вальтер, Катю Геллен, Майкла Гиллеспи, Брайана Гиллиама, Коринну Канке, Лору Либер, Хайди Мэдден, Якоба Норберга, Томаса Пфау, Маргарет Суонсон, Дороти Торп-Тернер, Сюзанну Фрейтаг и Стефани Энгельштейн. Я также благодарен за дружескую поддержку коллегам из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, занятым в совместной последипломной программе Каролины — Дьюка по германистике.

Русский перевод моей книги не состоялся бы без помощи Лины Стейнер, которая несколько раз читала мою рукопись. Я благодарен различным организациям и подразделениям Дьюкского университета финансовую поддержку: офису декана гуманитарных наук, Центру международных и глобальных исследований, Гуманитарному институту Джона Хоупа Франклина и Департаменту германских исследований.

Введение

У Толстого с его пустым теоретизированием по поводу того, как произведение искусства передает «чувства», можно *многому* научиться.

Витгенштейн

О духе Шопенгауэра можно сказать, что он совершенно *грубый*. То есть: у него есть утонченность, но на определенной глубине она внезапно пропадает, и он становится столь же грубым, сколь и грубейший из нас.

О Шопенгауэре можно сказать: он никогда не углубляется в себя.

*Витгенштейн*¹

1. Притом что романы Достоевского — антипода-двойника Толстого — всегда пользовались большим авторитетом среди философов, склонных к экзистенциализму, художественная проза самого Толстого и его непревзойденный психологический реализм часто служили главным ориентиром для мыслителей, пишущих о природе ума и чувств, о нравственной психологии и теории ценностей². Так, один из современных философов, говоря об «Анне Карениной», признался: «некоторые из нас, прочитав книгу, чувствуют, что от Толстого можно узнать о том, как следу-

¹ Источник эпиграфов: [Витгенштейн 1994, 1: 465, 445].

² О Достоевском в контексте экзистенциализма см. [Kaufman 1956; Steiner 1959]. Среди философов англо-американской традиции, опиравшихся в своих психологических штудиях на Толстого, см. [Goldie 2000; Oddie 2005]. Вопрос о «парадоксе вымысла» (почему мы испытываем настоящие эмоции по отношению к вымышленным персонажам, точно зная, что их не существует) был, как известно, поставлен в исследовании романа «Анна Каренина» [Radford, Weston 1975: 67–93].

ет жить, не меньше, чем от Аристотеля или Канта. Следовательно, философия окажется намного беднее, если философы, в силу профессиональной узости, будут игнорировать Толстого и других романистов»³. Одним из мыслителей, не игнорировавших Толстого, был Людвиг Витгенштейн, в круг чтения которого, как известно, почти не входили философы, кроме Фреге, Рассела и Шопенгауэра⁴. Недавние исследования показали, что в этот небольшой пантеон следует включить и Толстого. Р. Монк пишет об увлеченности молодого Витгенштейна «Кратким изложением Евангелия» Толстого: «Книга стала для него чем-то вроде талисмана: он брал ее с собой, куда бы ни шел, и читал так часто, что знал целые отрывки наизусть <...> “Если вы до сих пор с ним не знакомы, — рассказывал он позже Фикеру, — то вы не можете себе представить, какое влияние оно может оказать на человека”» [Монк 2018: 130–131]⁵. Некоторые воспоминания коллег также свидетельствуют о его увлечении поздними произведениями Толстого в целом, в том числе трактатом «Что такое искусство?», с рядом положений

³ [Glover 2000: 159]. Дж. Гловер подчеркивает отстаиваемую Толстым роль нравственных чувств, наряду с нравственными убеждениями, в практическом мышлении и уподобляет эту роль своего рода восприятию.

⁴ В 1931 году Витгенштейн составил список авторов, повлиявших на его философию: «Больцман, Герц, Шопенгауэр, Фреге, Рассел, Краус, Лоос, Вайнингер, Шпенглер, Сраффа» [Витгенштейн 1994, 1: 429].

⁵ Другие примеры: «Толстой в его мыслях занимал такое же место, как Фреге» [Janik, Toulmin 1973: 200]; в 1912 году Витгенштейн пишет Б. Расселу: «Я только что прочитал “Хаджи-Мурат” Толстого! Вы читали его? Если нет, прочтите: он прекрасен» [Wittgenstein 1995: 20]; «Ф. Р. Ливис вспоминает, что Витгенштейн знал “Рождественскую песнь” практически наизусть; кроме того, эту книгу Толстой в своем трактате “Что такое искусство” называет высшим проявлением искусства, “происходящего из любви к Богу”» [Монк 2018: 571]. (На самом деле Толстой называет повесть Ч. Диккенса «Колокола» («Chimes»), которая, как и «Рождественская песнь», вошла в сборник «Рождественские повести». — *Примеч. пер.*) «[Витгенштейн] постоянно рекомендовал Толстого и убеждал меня прочитать “Двадцать три истории”; и, когда я купила себе книгу, он отметил те рассказы, которые считал особенно важными. Это были: “Чем люди живы”, “Два старика”, “Три старца” и “Много ли человеку земли нужно?”. “В них вся суть христианства!” — сказал он» [Rhees 1981: 87–88].

которого, как сообщает П. Энгельман, Витгенштейн был согласен⁶. Но притом что исследователи признают важность Толстого для Витгенштейна, чаще всего это влияние сводят к предполагаемому подражанию Витгенштейна Толстому в личной жизни и в мировоззрении. В частности, этой точки зрения придерживается Р. М. Дэвисон, утверждающий, что «притягательность Толстого для Витгенштейна коренится в существенном сходстве характера и духа, что отражается в некоторых биографических параллелях» [Davison 1978: 51], таких как преподавание в сельской школе, отказ от семейного богатства ради простой жизни и т. д. Притом что эти биографические параллели весьма убедительны (действительно, и Толстого, и Витгенштейна часто считают людьми, склонными к некоторой «святости» в частной жизни)⁷, я полагаю, что художественные и публицистические произведения Толстого, его образы, концепции и идеи гораздо глубже повлияли на мысль Витгенштейна, чем это до сих пор признавалось⁸. В этой книге я постараюсь проследить ту линию рассуждений Витгенштейна,

⁶ П. Энгельман [Engelmann 1967] не сообщает нам, какие именно положения Толстого имел в виду Витгенштейн. Содержательные обзоры письменных свидетельств можно найти в [Greenwood 1995: 239–249; Davison 1978: 50–53].

⁷ Издатель Л. фон Фикер описывает свое впечатление от первой встречи с Витгенштейном: «Картина трогательного одиночества, на первый взгляд напоминающая, к примеру, Алешу [Карамазова] или князя Мышкина» [Ficker 1954: 236].

⁸ Г. С. Морсон в заключительной главе книги «Анна Каренина в наше время» [Morson 2007] прибегает к аристотелевскому понятию фроне́зиса и к некоторым заманчивым цитатам как из раннего, так и из позднего Витгенштейна, чтобы подтвердить свою характеристику романа как «прозаичного»: «Все реалистические произведения по определению содержат множество деталей и повседневных событий; прозаичные романы рассматривают такие события как докус ценности... Прозаичные романы *переопределяют* героизм как правильное поведение в повседневной жизни, а святость — как малые, едва заметные проявления вдумчивости» [Там же: 28–29]. Поскольку Витгенштейн стремится вернуть метафизическую вдумчивость повседневности и признает ограниченность языка, Морсон приходит к заключению: «...как будто Витгенштейн поставил себе задачу прийти к выводам Толстого другим путем. Каждое произведение первого может служить комментарием ко второму» [Там же: 210]. Одна из задач данной книги — уточнить, оценить и отчасти оправдать это предположение путем тщательного анализа, изложения и аргументации.

которая может послужить своего рода ответом на проблемы, поднятые в текстах Толстого. Таким образом я покажу, как идеи Витгенштейна помогают лучше понять Толстого, проливают свет на его теорию искусства и позволяют разобраться в причинах, по которым она в конце концов оказалась несостоятельной. После чего, используя другие философские идеи Витгенштейна, я предложу свой вариант пересмотра толстовских идей об эстетическом выражении, что, надеюсь, позволит взглянуть на них по-новому.

2. Однако у моего прочтения Толстого сквозь призму Витгенштейна есть еще одна цель. «Деконструкция», основанная на философии Ж. Деррида, глубоко повлияла на теорию литературы и на несколько поколений исследователей в самых разных областях. Хотя некоторые ученые утверждают, что между семиологической критикой значений и поздней философией Витгенштейна имеется очевидное сходство, я принадлежу к противоположному лагерю: к тем, кто считает, что с помощью идей Витгенштейна можно дать мощный отпор деконструктивистам — апологетам семантического скептицизма⁹. В первой главе я покажу, как может выглядеть такое «витгенштейнианское» опровержение, опираясь на одно из важнейших утверждений философа — что в ряде случаев понимание *не* требует акта интерпретации *в качестве* обоснования. Подобное утверждение неоднократно встречается

⁹ М. Фишер [Fischer 1989] опирается на трактовку Витгенштейна С. Кавеллом в ответ на деконструктивистскую версию скептицизма по отношению к чуждому сознанию. Дж. Гибсон [Gibson 2007] исходит из присутствующего у позднего Витгенштейна анализа критериев и стандартов изложения (подобных парижскому эталону метра), утверждая, что литература не обладает ни миметической референтностью, ни языковой автореферентностью (как утверждают некоторые приверженцы деконструкции), но обнажает и с помощью воображения исследует эти стандарты изложения. Читатели Витгенштейна заметят, что, хотя я обращаюсь преимущественно к поздним идеям философа о психологических понятиях, выражении и значении, я также привожу аргументы и взгляды, которые Витгенштейн постоянно или по меньшей мере с подразумеваемой последовательностью высказывал и в ранние, и в поздние годы — это мысль о скептицизме как явственной неудаче повседневного понимания, антикартезианские идеи, ценность как условие практики обозначения и т. п. О соотношении между ранней и поздней философией Витгенштейна см. [Pears 1987].

также в поздних произведениях Толстого, как литературных, так и публицистических; в последующих главах я проанализирую его более подробно, чтобы пролить новый свет на некоторые самые известные произведения Толстого: роман «Анна Каренина», эссе «Что такое искусство?» и повесть «Крейцера соната». Мы также увидим, как изучение Толстым философии Шопенгауэра поставило под сомнение концепцию непосредственного понимания в его эстетической теории и как, пытаясь решить этот вопрос, он сам сделал шаг назад, отступая от своих самых блестящих открытий. Это, в свою очередь, говорит о том, что толстовская эстетическая теория, пересмотренная в оптике Витгенштейна, включая его скрытую критику Толстого, может сегодня снова оказаться достойной внимания. В заключительных главах книги, опираясь на уроки, извлеченные из предыдущих глав, я помещаю пересмотренный таким образом толстовский эстетический экспрессивизм в контекст ожесточенных споров, что ведутся сегодня в гносеологии вокруг философии чувств вообще и нравственных чувств в частности, и столь же оживленных дискуссий о природе эстетического выражения, ведущихся в философской эстетике.

3. Таким образом, эта книга представляет собой одновременно расширенное эссе и философскую реконструкцию в нескольких смыслах. *Во-первых*, это рациональная реконструкция мысли Толстого, опирающаяся на несколько произведений, написанных им в поздний период творчества. Хочу оговориться: я не занимаюсь позитивистским реконструированием идей, посещавших Толстого, когда он брался за перо и бумагу. Скорее, на материале его текстов и исходя из своего понимания Витгенштейна я формирую рационально обоснованное изложение того, что, как я полагаю, могут предложить нам его тексты. В этой попытке рациональной реконструкции я руководствуюсь «принципом милосердия» по отношению к текстам Толстого: стараюсь извлечь из них смысл, полагаясь на разумность, единство видения и последовательность их автора¹⁰.

¹⁰ Термин «рациональная реконструкция» впервые появился у Ю. Хабермаса [Habermas 1979] и означал экспликацию и теоретическое систематизирование имплицитных смыслов коммуникативного дискурса. У меня похожая цель,

Во-вторых, в первой главе содержится рациональная реконструкция двух доводов Деррида, которые я сопоставляю с аналогичным аргументом С. Крипке, присутствующим в его авторитетном толковании основных положений «Философских исследований» Витгенштейна. Встраивая в этот контекст аргументы Деррида, я рассчитываю продемонстрировать, каким образом Витгенштейн дает возможность их опровергнуть. Поклонники Деррида могут упрекнуть меня в том, что я извращаю мысли мэтра в собственных целях, — прошу в свою очередь применить к этому тексту принцип милосердия, которым я руководствуюсь в своем толковании.

Наконец, если мой пересмотр эстетического экспрессивизма Толстого окажется успешным, то подобная квалифицированная реконструкция сможет послужить ответом на деконструкцию, вдохновленную Деррида. Более того, оглядка на роль идей Витгенштейна в современных дискуссиях о чувствах и эстетическом выражении при разработке такой реконструкции повышает ее правдоподобность.

План книги

В главе 1 я намечаю главную линию исследования через критическое осмысление идеи, которую современное литературоведение сочтет трюизмом, — идеи о том, что любой акт понимания (текста, устной речи, личности) требует в качестве обоснования акта интерпретации. Этот трюизм можно назвать *предпосылкой интерпретации*. Она часто ведет к семантическому скептицизму либо в эпистемологическом плане (мы никогда не можем быть уверены, что правильно или исчерпывающе поняли детерминированное значение выражения), либо в метафизическом (детерминированных значений не существует как таковых). Я сопоставляю аргументы в пользу этого вывода, приводимые С. Крипке

но применительно к дискурсу (литературному и публицистическому) позднего Толстого. «Принцип милосердия» (или «принцип доверия» — термин, введенный Н. Л. Уилсоном и подхваченный У. В. О. Куайном и Д. Дэвидсоном) требует от интерпретатора «толковать высказывание субъекта с максимальным выявлением его истинности или разумности» [Blackburn 1994: 62].

в его прочтении Витгенштейна, и аргументы Ж. Деррида, а затем показываю, что их доводы в пользу семантического скептицизма могут быть истолкованы как варианты одного рога общей дилеммы (второй рог которой — платонизм), возникающей в результате интерпретистского допущения. Для этого я прибегаю к альтернативному прочтению Витгенштейна, которым мы обязаны Дж. Макдауэлу. Это альтернативное прочтение противостоит картезианскому духу предпосылки интерпретации тем, что учитывает наличие случаев понимания, *не являющегося* актом интерпретации, где понимание оказывается непосредственным, неинференциальным и не нуждается в каком-либо веском обосновании.

В главе 2 я обращаюсь к Толстому в период «духовного кризиса» и выявляю в «Анне Карениной» ту же идею непосредственного понимания, не требующего интерпретации, в действии: в частности, как она проявляется в контексте скептицизма Левина, альтер эго Толстого — скептицизма более широкого, чем семантический, направленного на смысл жизни. Здесь я привожу несколько мыслей Витгенштейна, чтобы с их помощью продемонстрировать, как в романе Толстого взаимосвязаны скептицизм, понимание и воля.

В главе 3 я интерпретирую главное эстетическое сочинение Толстого «Что такое искусство?», чтобы показать, как он превращает идею непосредственного понимания в ключевую концепцию своей экспрессивистской эстетической теории: удачное произведение искусства непосредственно и универсально «заражает» реципиентов ярко выраженным «чувством», а хорошее произведение искусства передает «правильные» чувства, а именно те, которые призывают либо к христианскому братству, либо к всемирному единению.

В главе 4 я рассматриваю возможное влияние этических и эстетических теорий Шопенгауэра на позднее творчество Толстого. При этом я описываю то, что называю «ницшеанской угрозой», скрытой в модели этико-эстетического понимания, основанного на толковании шопенгауэровой теории воздействия музыки в совокупности с его же теорией действия и нравственной пси-

хологией. В заключении этой главы я показываю, что толстовская теория, изложенная в эссе «Что такое искусство?», по всей видимости, уязвима для этой угрозы.

В главе 5 я обращаюсь к повести «Крейцера соната», которую Толстой писал одновременно с «Что такое искусство?». Я прочитываю повесть как попытку Толстого разобраться именно с «нищешанской угрозой» в том смысле, в каком она служит препятствием для этического измерения, которое он пытался придать эстетической теории. Основу моих рассуждений в этой главе составляют некоторые мысли Витгенштейна об этике, по всей видимости возникшие в процессе изучения им Шопенгауэра. Далее я возвращаюсь к заключительной части эссе «Что такое искусство?» и высказываю предположение, что Толстой добавил ее, умышленно стараясь отвратить «нищешанскую угрозу», присутствие которой ощутил в своей эстетической теории и ее этической составляющей. Для того чтобы этическая направленность его эстетической теории не вызвала сомнений, Толстой использует ту самую метафору правил как рельсов, которую яростно критиковал в ранних работах. Этой же метафорой, как известно, пользуется и Витгенштейн, говоря о платонизме. При этом мы видим, что в конечном счете Толстой делает шаг назад и оказывается «в хвосте» собственных лучших идей.

Последние три главы предлагают реконструкцию теории Толстого, достаточную, чтобы она стала жизнеспособной альтернативой «интерпретистским» объяснениям эстетического понимания, вытекающим из дерридианских принципов. Эта реконструкция призвана примирить существующие споры в трех дискуссионных направлениях: в философии чувств в целом, нравственных чувств в частности, а также споры о природе эстетического выражения. В главе 6 определены ограничения на онтологию и эпистемологию чувств, которые я уже описывал в своих предыдущих интерпретациях произведений Толстого; в ней я также утверждаю, что концепция основных чувств как *sui generis*¹¹ состояний, образуемых неразрывным единством

¹¹ *Sui generis* (лат.) — единственный в своем роде. — Примеч. пер.

когнитивного, конативного и аффективного (физиологического, феноменологического и поведенческо-диспозиционного) измерений, наилучшим образом очерчивает эти ограничения. Такая концепция чувств хорошо защищена от конкурирующих теорий, включая некогнитивную «теорию переживания (аффекта)», опирающуюся на причинность и исключаящую интенциональность и нормативность нравственных чувств.

В главе 7 я переношу анализ чувств в целом конкретно на нравственные чувства и показываю, что их комплексное объяснение снимает основное противоречие метаэтики — между нравственным суждением как когнитивным убеждением, с одной стороны, и как мотивирующим желанием — с другой. В этой главе также утверждается, что в качестве эпистемологического ограничения в применении к нравственным чувствам наиболее адекватна «теория чувствительности» в отличие от исключительно каузально-диспозиционного либо чрезмерно рассудочного инференциального объяснения. Наконец, в главе описывается развитие когнитивного измерения нравственных чувств у индивидуума достаточно полно, чтобы пояснить, как эстетический опыт может способствовать нравственному воспитанию человека.

Глава 8 помещает версию разграничения между причинным и нормативным среди различных философско-эстетических теорий, касающихся эмоциональной выразительности произведений искусства. Как ни странно, в этих разногласиях воспроизводятся некоторые позиции, определение и оценка которых были даны в главе 1 в связи с семантическим скептицизмом, так что можно выделить теоретический подход к выражению чувств в произведении искусства, соответствующий подходу к значению и пониманию, о котором шла речь в начале этого исследования. Таким образом я намерен показать, что теория Толстого, должным образом реконструированная и развитая, представляет собой жизнеспособную позицию в сегодняшних дискуссиях. В заключении книги суммируются аргументы из предыдущих глав, чтобы еще раз подтвердить, что в ней предлагается именно такое объяснение эстетического экспрессивизма.

Глава 1

Семантический скептицизм согласно С. Крипке и Ж. Деррида

Нечто поразительное, некий парадокс в особом, как бы искаженном окружении. Надо дополнить его окружение *таким образом*, чтобы то, что выглядело парадоксом, больше не казалось таковым.

*Витгенштейн*¹

В этой главе я изложу некоторые линии аргументации и позиции, относящиеся к вопросу: что значит понимать или знать значение выражения? Важнее всего, как мы увидим, станет здесь реконструкция некоторых аргументов Деррида и Витгенштейна относительно роли *интерпретации* в познании. Ознакомившись с направлениями и раскладом мыслей в этой сфере, мы лучше поймем, как с помощью Витгенштейна можно углубить свое понимание теории эстетического выражения Толстого.

1. Предположим, кто-то правильно понимает значение выражения «плюс 2». Естественным образом, демонстрируя свое понимание, этот человек, называя ряд чисел: 996, 998, 1000, — должен следом сказать «1002», и любое другое высказывание, например «1004» или «зебра», было бы ошибкой или свидетельствовало о неверном использовании правила, на основе которого надлежит

¹ Источник эпиграфа — «Замечания по основаниям математики», V, 36 [Витгенштейн 1994, 2: 196]. См. также VII, 48.

оперировать идеей или правилом «плюс 2». То есть вполне естественно полагать, что понимание выражения «плюс 2» имеет нормативный охват, распространяющийся на числительные в ряду перечисления, которые еще не были — или даже никогда не были — названы, и что адекватное поведение человека, понимающего выражение «плюс 2», должно быть согласовано с правилом применения этого выражения. Такая *нормативность* значения, по всей видимости, имеет основополагающую важность для понимания значения. Ясно, что наш арифметический пример служит просто иллюстрацией общего требования к пониманию значения: так, человек выказывает понимание значения прилагательного «красный», если при виде красных предметов выносит правильное суждение: «это красное». Но достоинство арифметического примера состоит в его простоте: здесь поведение человека должно проистекать исключительно из правильного понимания, тогда как в случае описательного выражения, такого, как «красный», согласованность понимания и поведения должна подразумевать не только правильное понимание значения слова, но и правильное восприятие эмпирического мира. (Для сравнения представьте себе человека, который понимает значение слова «красный» инференциально, поэтому знает, что «это все красное» неэквивалентно «это все синее» и влечет за собой вывод «это цветное» и т. д., но при этом является дальтоником и поэтому не может правильно идентифицировать красные предметы). Так что арифметический пример выдвигает на первый план общую связь между пониманием значения и поведением, которое является правильным или неправильным в отношении к понятому значению, то есть таким поведением, которое либо согласуется, либо не согласуется с понятым значением².

2. Это нормативное отношение между понимаемым значением и согласующимся с ним поведением можно дополнительно уточнить, противопоставив ему сугубо *описательное*, или *каузальное* отношение. Понимание смысла не может состоять исключительно в предрасположенности (*диспозиции*) к поведению, согласую-

² См. [Витгенштейн 1994, 1: 136, 156–158; McDowell 1998: 263–278].

щемся со значением, так как в этом случае приписывание электронному калькулятору понимания того, что значит «плюс 2» было бы вполне корректным предположением, а не просто антропоморфизирующей вольностью. Ясно, что калькулятор может быть описан как агент, выполняющий действие сложения, что подтверждается тестированием его предрасположенности каузально выдавать следующее число серии, получив в качестве входных данных «плюс 2». Но представим себе, что в электронной схеме произошел сбой, и калькулятор вышел из строя, что на практике всегда возможно. Даже для простой констатации факта, что механизм работает неправильно, нужно заранее иметь представление о том, как он должен работать правильно: лишь тогда мы сможем увидеть, что фактическое, эмпирическое, диспозиционное поведение расходится с этим нормативно правильным, ожидаемым поведением. В §§ 192–195 «Философских исследований» [Витгенштейн 1994, 1: 159–161] Витгенштейн вводит образ сверхстабильной «машины как символа», чтобы проиллюстрировать это нормативное представление о том, что все последующие случаи применения того или иного слова уже некоторым образом предопределены, «в некоем таинственном смысле должны уже *присутствовать*». Но он подчеркивает, что эта машина как символ *не тождественна* ни одной действительной, эмпирической машине, так как последняя «может двигаться совершенно по-другому», тогда как для первой, как бы по нормативному условию, такая вероятность отсутствует:

Но когда мы размышляем о том, что машина могла бы двигаться и иначе, то может показаться, что в машине как символе виды ее движения должны быть заложены с гораздо большей определенностью, чем в действительных машинах. Как будто для движений, о которых идет речь, недостаточно, чтобы их последовательность определялась, предсказывалась эмпирически. В некоем таинственном смысле эти движения должны уже *присутствовать*. И, конечно же, верно: движение машины-символа предопределено иначе, чем движение любой реально существующей машины [Витгенштейн 1994, 1: 159–160].

Поэтому понимание значения не может вытекать из реальных диспозиционных факторов поведения. Диспозиционное объяснение значения может предоставить нам *описание* поведения, но не может предоставить *обоснования* поведения, поскольку диспозиция — это не то, о чем можно сказать, что она с чем-либо согласуется или не согласуется³. Диспозиционное объяснение не может охватывать нормативность значения. Как утверждает Витгенштейн в § 192 «Философских исследований», диспозиционное объяснение и нормативное объяснение представляют собой две различные картины значения; мы получаем представление об идеально стабильной машине «как итог взаимопересечения картин» [Витгенштейн 1994, 1: 159, 160]. Самый запоминающийся образ взаимопересечения появляется у него несколькими абзацами ниже, там, где он сравнивает нормативные правила с рельсами:

Откуда возникает представление, будто начатый ряд это зримый отрезок рельсов, уходящих в невидимую бесконечность? Что ж, правило можно представить себе в виде рельса. А неограниченному употреблению правила тогда соответствуют бесконечно длинные рельсы [Витгенштейн 1994, 1: 167].

С этим образом мы еще встретимся в поздних произведениях Толстого.

3. На этом этапе рассуждения мы обозначили, по сути, нормативный аспект схватывания значения выражения, а именно постижение нормативных пределов смысла выражения, его правильного применения в соответствующих обстоятельствах. Мы также определили, что это нормативное отношение не может быть уложено в чисто каузальное или диспозиционное объяснение значения, потому что такое объяснение предполагает нормативное объяснение при заведомом допущении, что диспозиция функци-

³ Расширенное критическое рассмотрение диспозиционных объяснений см. в [Витгенштейн 1994, 1: 159–161; Крипке 2005: 27–40]. Попытка предложить в ответ двойное диспозиционное объяснение содержится в [Forbes 2002].

онирует правильно. И теперь возникает соблазн утверждать, что должно существовать некое *сознательное* умственное состояние, в которое укладывается значение и которое отвечает за согласованность поведения человека со значением. Так, я представляю себе образ чего-то красного и обращаюсь к этому образу, чтобы решить, является ли некий находящийся передо мной объект красным и подтверждает ли таким образом предикацию «___ является красным». Или же я представляю себе ряд четных целых чисел до последнего из перечисленных, а потом представляю, каким должно быть следующее, чтобы дать правильный ответ на «плюс 2». Или же вызываю из памяти верное правило для выполнения сложения (например, запись чисел в столбик, сдвиг разрядов влево, перенос цифр при необходимости) и пользуюсь им для получения правильной суммы и т. д. Таким образом, сознательное умственное состояние, будь то образ, ощущение, правило или принцип, представляет собой как бы факт значения как такового, обращение к которому обосновывает согласованность поведения человека со значением рассматриваемого выражения.

4. И на этом этапе, согласно прочтению Витгенштейна Солом Крипке, неизбежным кажется скептицизм, ибо скептик спрашивает: когда вы обращаетесь к правилу сложения, чтобы обосновать правильность своего ответа на «плюс 2», а следовательно обосновать, что «плюс 2» означает сложение, откуда вы знаете, что вам нужно прибегать к правилу сложения, а не какому-то другому правилу, и, более того, правилу, которое, может быть, и соответствовало правилу сложения во всех предшествующих конкретных случаях, когда вам приходилось осуществлять операцию «плюс 2», но которое не будет ему соответствовать в каком-то будущем случае? (См. [Крипке 2005: 9–56]). Например, представим себе другое правило — назовем его «квус 2», — которое, как и правило, применяемое для «плюс 2», производит ряд чисел: скажем, 2, 4, 6, 8, . . . и так далее, но согласно которому в какой-то последующей, неизвестной вам точке происходит отклонение от закономерности ряда. Таким образом, когда вы выполняете задание «плюс 2», все ваши ответы согласуются как с правилом сложения, так и с правилом квожения. И поэтому

всегда есть вероятность, что вы не поняли значения «плюс 2», так как всегда принимали его за «квус 2», а не за «плюс 2». Но этот *эпистемический* скептицизм, в свою очередь, порождает *метафизический* семантический скептицизм⁴. Независимо от того, к какому умственному состоянию вы прибегаете, чтобы обосновать свое понимание смысла выражения, в будущем это умственное состояние всегда может быть истолковано по-другому. Особенно доходчиво это объясняет Дж. Макдауэлл:

На какой бы предмет моей умственной обстановки, приобретенный в результате изучения арифметики, я ни ссылался, скептик всегда найдет повод, чтобы отметить, что все мои сегодняшние действия соответствуют ему только в случае, если он имеет только одну интерпретацию, на самом же деле возможны и другие интерпретации. Поэтому он не может конституировать мое понимание «плюса» таким образом, чтобы продиктовать мне ответ, который я даю. Такой способ понимания потребует не только изначального наличия этого предмета [в моем сознании], но и того, чтобы я интерпретировал его правильно. Но что может конституировать мою правильную интерпретацию того или иного умственного объекта? И этот аргумент можно повторять снова и снова [McDowell 1998: 226–227].

В результате этого аргумента возникает то, что Крипке называет витгенштейновским скептическим парадоксом: не существует ни одного факта, обосновывающего то, что я подразумевал именно «плюс 2», а не что-то иное⁵.

5. Существует соблазн отстраниться от скептического парадокса, утверждая, что есть регрессионный стопор — «окончательная интерпретация», которая конституирует и обосновывает значение и объективно устанавливает для значения нормативный

⁴ Весьма полезное сопоставление картезианской, кантианской и витгенштейновской разновидностей скептицизма см. в [Copant 2004: 97–136].

⁵ Ср.: «Фактически представляется, что независимо от того, что есть в моем сознании в данное время, я свободен в будущем интерпретировать это различными способами» [Крипке 2005: 65].

охват. В «Голубой книге» Витгенштейн говорит об этом соблазне: «Каждый знак поддается интерпретации, но значение не должно поддаваться интерпретации. Оно является последней интерпретацией» [Витгенштейн 2008: 66]. Это окончательная интерпретация. А в § 218 «Философских исследований» Витгенштейн, как мы уже видели, раскрывает это понятие с помощью метафоры правил как рельсов, образа, к примеру, арифметического ряда, строящегося по принципу «плюс 2» и уходящего в бесконечность (2, 4, 6, 8 и т. д.): «Правило можно представить себе в виде рельса. А неограниченному употреблению правила тогда соответствуют бесконечно длинные рельсы» [Витгенштейн 1994, 1: 167]. В современном философском речевом обиходе, например в математическом реализме, эту концепцию значения как самостоятельного, объективного факта значения называют «семантическим платонизмом». (См., напр., [Крипке 2005: 56]).

Д. Пирс дает полезное пояснение:

Идея в том, что во всех наших операциях с языком мы действительно едем по фиксированным рельсам, проложенным в реальности еще до того, как мы появились на сцене. Прикрепите к объекту имя, и внутренняя природа объекта немедленно возьмет на себя полный контроль и обусловит правильное использование имени в будущем» [Pears 1987, 1: 10].

С одной стороны, здесь отражена мысль о том, что существует объективно правильный нормативный стандарт применения выражения, с которым необходимо считаться, если вы понимаете данное выражение. С другой стороны, это побуждает скептика спросить: как может такое бесконечно применимое значение *присутствовать* в сознании человека?

«Но я имею в виду не то, что происходящее со мною сейчас (в момент уяснения значения) *каузально* и эмпирически определяет *будущее* употребление, а что каким-то *странным* образом само это употребление уже присутствует». — Но ведь «в *каком-то смысле*» это так! По сути дела, в том, что ты говоришь, неверно лишь выражение «странным образом» [Витгенштейн 1994, 1: 161 (§ 195); см. также 159 (§ 192)].

Апелляция к сложению как к платоновской идее не решает стоящей перед скептиком проблемы, ибо, даже если допустить объективное существование такой идеи, скептик все же может спросить: а откуда вы знаете, что ваш ум уловил *именно эту* идею, *именно это* конкретное правило? Где доказательство, что вы уяснили платоновскую идею «плюс 2», а не платоновскую идею «квас 2»? И Крипке заключает:

Для Витгенштейна платонизм во многом является бесполезной уверткой от проблемы, каким образом наши конечные сознания могут задавать правила, которые предполагается применять к бесконечному числу случаев. Это в значительной степени бесполезное уклонение от проблемы того, как наш конечный разум может дать правила, которые, как предполагается, применимы к бесконечному числу случаев. Платонические объекты могут быть самоинтерпретирующимися или, скорее, могут не нуждаться в интерпретации; но в конечном счете должна привлекаться некоторая ментальная сущность, которая порождает скептическую проблему» [Крипке 2005: 55].

6. Именно на такую концепцию значения, на этот «семантический платонизм», и направлены известные «деконструктивные» рассуждения Ж. Деррида. Деррида утверждает, что нашел в «Логических исследованиях» Гуссерля утаенные «метафизические предпосылки», наличествующие «в подлинной самоочевидности, в *настоящем* или в *присутствии* смысла для полной и изначальной интуиции» [Деррида 1999а: 13]. Впоследствии он уточняет это как вопрос «самоприсутствия в сознании — где “сознание” не означает ничего другого, кроме возможности самоприсутствия настоящего в живом настоящем» [Там же: 19]⁶. А в работе

⁶ Деррида использует тот же оборот — «метафизические предпосылки» — в работе «О грамматологии» [Деррида 2000: 144, 148, 154]. В «Логических исследованиях» (т. 2, гл. 1) Гуссерль определяет «выражающее отношение или функцию» как передающее идеальное содержание или значение, которое от раза к разу не меняется в различных актах его высказывания и понимания. Такие идеальные «единства значения» он также называет «интенциями значения»; см. [Гуссерль 2001, 3: 35–67].

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru